

Преступные подростки

Влас ДОРОШЕВИЧ

Давыдов убил Винавера.

Это ужасно.

Давыдов не только убил, но и ограбил убитого.

Это ещё ужаснее.

И при всём том Давыдову едва-едва 18 лет.

Это ужаснее всего.

— Молодость и жестокость! Юность и преступление. Есть ли пары более невероятные!

А между тем каторга наполнена 16, 17, 18-летними убийцами.

15-летними отцеубийцами, 16-летними убийцами с целью грабежа, 17-летними убийцами с заранее обдуманым намерением.

Раз их много, значит, это уже не ужасный «случай».

Раз исключений много, значит, это уже не исключение, а какое-то особое «правило».

И в этих сопоставлениях «молодость» и «преступление», «юность» и «жестокость» нет ничего исключительного, «чудовищного».

Это ужасно, но это и естественно.

Человек рождается с двумя ногами, чтобы бегать от опасности, двумя руками, чтобы бить и отнимать, с головой, чтобы обдумывать засады и ловушки.

Затем воспитание, семья, школа, среда, общество делают из него «зоон политикон».

Иногда.

Некоторые так и сохраняют до смерти страсть к насилию, к произволу, к жестокости. Умирают тем же животным, каким и родились.

И это превращение ребёнка-зверя в «зоон политикон» совершается с большим трудом, с сильным противодействием со стороны ребёнка, подростка, юноши.

Ребёнок — это зверь со врождённым инстинктом разрушения, насилия, жестокости.

Он ломает игрушки, мучит животных, бьёт слабейших детей.

Что бы вы ему ни дали, у него всё пробуждает один инстинкт — разрушения:

— Сломать!

Когда он предоставлен самому себе, он развлекается тем, что обрывает крылья у мух, мучит собак, кошек, причиняет им боль и в их мучениях, в визге кошек и собак находит для себя наслаждение.

Поступив в школу, он бьёт и истязает новичков.

Удовольствие вовсе не тем выше, чем сильнее мучения, а тем, чем жертва сильнее выражает испытываемые страдания.

В классе очень быстро перестают бить тех, кто молчит. Никакого удовольствия.

Бить любят «плакс».

Чем плаксивее ребёнок, чем сильнее он выражает испытываемые мучения, тем с большим удовольствием его колотят.

Если бы можно было устроить плебисцит среди детей: «Кем бы они желали быть?» — конечно, получился бы на девяносто девять сотых ответ:

— Военными!

И не только потому, что «форма красивая», но ещё и потому, что военные бьют, колотят, рубят, режут.

В более раннем возрасте идеал ребёнка — пожарный.

Даже девочки очень охотно играют в пожарных.

Но это ранний период — период «инстинкта разрушения», когда дети только ломают игрушки. Тогда их идеал — «быть пожарным», потому что пожарный кидается, ломает, разрушает.

Когда ребёнок от насилия над вещами переходит к мучительству, его идеал — военный.

И «стоны и вопли побежденных» заставляют пылать детскую голову, опьяняют не меньше, чем «крик торжества победителей».

«Героическое» привлекает ребёнка, подростка, юношу.

Убийство чаще всего родится в голове именно юноши.

Кто в юности не был убийцей в мыслях, в мечтах? Кто не убивал в фантазии своей своих «врагов», притеснителей, обидчиков?

И всякий, мечтая об убийстве, рисовал себе стоны, вопли, беспомощность жертв. Это-то и привлекало его.

Если вы рассмотрите преступления, совершаемые подростками, то вы увидите, что они всегда жестоки.

В этом особенность преступлений подростков. Им нужны мучения, жертвы. Без этого не было бы и удовольствия.

Их привлекает не самый факт убийства, не самый грабёж даже, если убийство с целью грабежа, а эта картина, как жертва очутится беспомощной, беззащитной перед ним, могучим, сильным, вооружённым.

«Героическая» сторона привлекает их.

И под влиянием страсти к «героическому» подросток прибегает к убийству там, где прозаически настроенный взрослый нашёл бы другой исход.

Каждый человек, идя жизненной тропой, проходит около преступления, близко-близко, едва не касаясь его.

Молодость страшно близка к преступлению.

Каждый подросток проходит едва-едва мимо возможности стать преступником.

Но одних удерживает слабость, других — посторонние обязательства.

И это не значит, что те, которым только посторонние обязательства помешали совершить преступления, остаются зверями.

Нет. Они делаются впоследствии очень добрыми, очень хорошими — иногда просто «на редкость» — людьми.

Я могу вам передать рассказ, слышанный мною от одного очень почтенного деятеля. Я имею разрешение даже назвать его имя, но не думаю, что это было бы нужно.

— Это происходило, когда мне было 18 лет и, к тогдашнему стыду моему, я понятия не имел о «Преступлении и наказании». Так что Достоевский, которого принято теперь сажать на скамью подсудимых по всем делам об убийстве с целью грабежа, был совсем ни при чём. Если бы в то время кто-нибудь сказал при мне: «Раскольников», — я бы спросил, кто это такой. Я жил в Москве одинокий и бедствовал, как бедствует много юношей. Умел только одно — давать уроки. Ходил через весь город на 12-рублевый урок, но когда мальчик, благодаря моим занятиям, поправился и стал учиться хорошо, я лишился и этого урока. Началось «продавание с себя». Жил в каморке под лестницей, как многие, конечно, не платил, — квартирная хозяйка каждое утро задавала мне концерты. «Срамила». Отворяла все двери, чтобы другие, служащие по местам писаря, порядочные, платящие жильцы, слышали, и кричала: «Скоро выберетесь? Через мирового вас выкидать? Вот навяжется на шею лодырь! Не платит, — да ещё время из-за него теряй, по мировым шлейся!» Я затворял дверь, она отворяла: «Нечего затворять-то! Слушать не любишь, а деньги не платить — любишь? Сама потом, кровью, горбом деньги зарабатываю. Да ещё такого олахаря на шее держать?» И, обращаясь к другим жильцам, каждое утро повествовала, указывая на меня грязным пальцем. Отлично я этот палец помню. «Ведь живёт-то как. Собаки лучше живут. Тьфу!» Бедности без унижений не бывает. Бедный живёт среди бедных. А бедные всегда от бедности злы. Жильцы «при местах», в сравнительно чистых рубахах и даже с подтяжками, — что уже роскошь! — стояли в дверях, сказать ничего не смели, потому что в морду бы дал, — но зато смотрели. Как смотрели! Потому что были «при местах». Продал я всё с себя постепенно. Пальто проел. Шляпу на картуз парусинный, старый, с ломаным козырьком сменял и проел. Жилетку проел, ходил в пиджаке, застегнувшись. Пиджак и штаны менял, менял «с придачей», и до того доменялся, что была у меня не

одежда, а сменка. Белья не было. Рубашку продал, можно воротник у пиджака стоймя поднимать; не видно. Носки пришлось выбросить, в газетную бумагу ноги обёртывал. Удавился у меня тут товарищ, такой же, как я. Пошёл в больницу, при которой его потрошили, на отпевание. За отпеванием, гляжу, все сиделка одна на меня поглядывает. Средних лет, полная такая, красивая. «Эх бы», думаю. После отпевания она подходит ко мне, говорит: «Извините, пожалуйста! Не зайдёте ли ко мне?» «Судовольствием!» — говорю. Иду, ликую. Зашли, дверь притворили, «Извините, — говорит, — пожалуйста! У меня после мужа покойника бельё осталось. Позвольте вам рубашку предложить. У вас нету. За упокой души!» «Нет, нет, нет!» — закричал и дёру. «Дрянь, — думаю, — дело! Совсем дрянь!» К армянину одному зашел, прослышал, что урок есть. Горничная за дверьми решила подождать, в передней, пока докладывать пошла, одного не оставила. В первый раз это со мной случилось! Армянин принял, весьма внимательно оглядывал: «Благодару, — говорит, — рэпэтитор уж имеем. Будьте такие добры, пасыдите минутку». Ушёл в другую комнату и выносит сапоги. «Человек молодой... Сапоги малу дэржанный, харуший». Не помню уж, как выбежал. Жутко стало. А всё нахожусь. Посидишь сутки не жравши, глядь, и нашел, что проесть. Ах, как много около человека мелочей, на которые съесть можно. То, глядишь, под койкой чемодан парусинный с продраным боком лежит, сейчас его к Петру Сидоровичу и тащишь. То книга чья-то, когда-то, у кого-то почитать взял, сейчас у Петра Сидоровича мальчишку Петьку соблазнять идёшь: «Купи, читать будешь!» Пётр Сидорович держал неподалёку закусочную. Не лавка, а угол, троим не повернуться. Он никогда ничего не покупал, а всегда всё брал в залог без отдачи. «Пётр Сидорович! Купите жилетку!» — «Какой я тебе покупатель! На что мне?» — «Так дайте под неё что». Поломается, скажет: «Разве уж так, тебя жалеючи! Дам четвертак!» — «Пётр Сидорович, жилетка полтинника стоит, ей Богу, стоит!» — «Да разве я говорю, чудак человек, не стоит? Известно, стоит! Ежели купить! А я, сам знашь, не покупаю. Тебе же легче потом назад взять». Соглашаешься, отпускает съестным. «На на четвертак!» И даёт на гривенник. Деньгами никогда не давал. «Всё одно, у другого прожрёшь. Что я соседей, что ль, кормить буду?» Чтобы дешевле вещь взять, часа, бывало, полтора проморит. «Не надо! Не дам! Что я тебе за закладчик?» Из лавочки гонит. «Не толкись! Без тебя тесно! Убирайся, убирайся, говорю тебе! Что ж, мне тебя с городовым, что ли, гнать?!» А тут жареная колбаса в чёрном железном ящике, кипит, рубец свёрнутый лежит, белый-белый. Мальчишка Петька весовой ситник режет, нарочно, подлец, поддразнивает: «Эх, хорош ноне ситник!» Покупатели заходят без перерыва. «Отрежь на пятак колбасы! Дай на трёшник рубца! Взрежь-ка, милый, полситничка, вложь туда колбаски в серёдочку!» Все режут, всё пахнет, — а я тут стою, при покупателях говорить про «заклад» не смею; как покупатель выйдет, опять упрашивать начинаю: «Пётр Сидорович, возьмите рубаху!» Пётр Сидорович будто и не слышит, а потом вдруг скажет Петьке: «Петрушка, постой-ка, я покеда в трактир схожу, чайку испью!» И уйдёт. Тут настоящие-то мученья и начинались. Петька, приказчик, был маленький клопик и кусал больнее. Из него теперь у-ух какой небось торговец вышел, если он за покупку заведения краденого в тюрьму не угодил, или кто ему, за язык его поганый, головы не прошиб. Верите ли, до сих пор мальчишку этого ненавижу. Вспомнить не могу! Прямо из деревни мальчонка, — и сразу в колею вошёл. Он на мне с любовью упражнялся. Пётр Сидорович, тот человек солидный, молчал, а этот на мне зубы точил. Всё, бывало, оскорбительные поговорки, которые от взрослых слышал, на мне применять учится. Горд он был, что «торговлю на него оставляют». Сядет: «Ну-ка, барин, точёные ноги, чему такому вас в емназиях, синяя говядина, красные кишки, обучают?» Клопик пил, наливался кровью. Как Пётр Сидорович из лавки, сейчас копейку, две за голенище. Пётр Сидорович, бывало, всё-таки даст что-нибудь похожее на цену. А клопик каждую копейку с особым наслаждением утянуть старается. Учился, подлец! И измывается, и измывается, А я стою, от железного чёрного ящика, где колбаса шипит, отойти не могу. А он, подлец, ещё нарочно ящик отворит, колбасу перевернет. И стою я, и что он говорит — наполовину слышу. Слышу одно: колбасой пахнет, и больше ничего! И слюней полон рот. И вот дошло до того, что проедать больше нечего. «Лишнего» ничего. Осталась одна карточка Иванова-Козельского в роли Гамлета. Увлёкшись, как-то после одного спек-

такля, купил. Кабинетный портрет. Взял, пошёл. Петра Сидоровича нет. Подождал я с час, с Петькой-подлецом говорить не хотел. Петька мне и говорит: «Чего стоишь-то! Петра Сидоровича тебе и не будет. Болен он, Пётр Сидорович. Лежит. Не выходит». Тут я Петьке портрет показываю: «Купи!» Рассказал ему, в чём дело. «Тэк-с, — говорит, — это, что ж, тебе сродственник, что ли, комедиянт-то будет? Аль так: вместе, может, под Девичьим ломаетесь?» — «Возьми, — говорю, — дура! Выкуплю!» — «Оченно, — говорит, — надоть комедиянтов покупать. Ты мне какой другой патрет принеси, где б приказчик был с гармонью. И в спинжаке. И сапоги с набором. И гармонь чтоб с ладами. Вот это приятно! Это б я на стенке над постелью повесил. А это комедиянт!» Уговаривал, уговаривал... «Ладно, — говорит, — чёрт с тобой. Копейку дам, чтоб не отсвечивал. Стоишь в лавке, канючишь, — стыдобушка. Продам твоего комедиянта музыкантам, которые с птичкой ходят, птичка с портретом счастье вынимает». — «Дай, — говорю, — хоть две копейки Петька, чёрт!» — «Бери, — говорит, — что дают!» И отрезал мне от двухкопеечного ситничка на копеечку. И тут, подлец, из любви уж к искусству, меньше половины ситничка отрезал. «Положи, — говорю, — хоть колбаски кусочек!» — «И всухомятку, — говорит, — сожрёшь. Колбаса для извозчиков. А ты что за извозчик?» Отошёл я от лавочки, чтоб у Петьки-подлеца на глазах не есть, зашёл за угол, в два укуса полситника проглотил, только голод раздражил, — вдруг охватила меня злоба, бешеная, нестерпимая. И вдруг я возненавидел Петра Сидоровича! За всё возненавидел. И за хозяйку, и за Петьку, и за сиделку, которая рубашку предложила, и за армянина. «Больной лежит теперь?» Убить его. Убить — и всё. Не скажу, чтоб у меня других мыслей не было. И колбаса в мыслях была, и ситник рыхлый, свежий, и вообще еда. Но надо всем стоял вопль: «Убить!» Хожу по улицам, трясусь весь, с одной стороны на другую перебегаю, и всё меня к дому-то, к дому тянет, — Пётр Сидорович в доме, против своей закуской жил. И представляется мне, как я его, маленького, толстенького, пузатенького, убиваю, коверкаю, мучаю, а он ёжится, корёжится у меня в руках, глаза выкатились, мука смертная, на лице ужас, «прости», «не убивай!» — молит. А я-то его, я-то его. Да понемногу! Не совладал, такое желание поднялось, как бывает желание обладать женщиной. Пошёл. Смеркалось. Прошёл двор грязнейший, к двери, обитой рогожей, подошёл, оглянулся — никого, никто убивать не помешает, и за скобку потянул. Шёл я его, конечно, ограбить. Даже дорогой думал: «Где у него деньги и поценнее что лежит?» Но, входя, ей Богу, не об этом думал, а только о том, как он меня молить будет. Отворил дверь наружную, толкнул внутреннюю, — туда отворялась. Комната была небольшая. Окна геранью заросли. Натоплено было страшно. Пахло лампадным маслом, чем-то кислым, какими-то травами. В углу перед большими иконами в тёмных ризах горели лампадки. А под иконами, на грязных ситцевых подушках, лежал Пётр Сидорович. Красный, весь в жару, весь в огне, потный. На шее жилы вздулись. Лежал и беспокойно головой по подушкам метался. Услышал, что дверь отворяется, и забеспокоился. «Кто там? Кто?» — спрашивает. Голос хриплый, еле слышный. И сразу мне эта его голова на подушках вырисовалась. Подхожу к кровати, а на лице у него испуг разливается, мечется, привстать силится: «Кто? Что? Что надоть?» И страх, страх такой у него, ужас. Началось моё наслаждение. «Ага! — думаю и смотрю, как мечется. — Вот оно! Вот оно! И на шею его гляжу, на вздутые жилы. Сейчас я за эти вздутые жилы возьму, и глаза эти красные полезут, хрипеть будет, корчиться. И вдруг он мне, красный, потный, мечущийся, испуганный, так стал противен, омерзителен, гадок, почти страшен. «Задушить, как гадину!» Шагнул я, поднялся он. Вдруг стук сзади и голос: «Здравствуйте!» Руки у меня опустились. Пётр Сидорович с постели вскочил, к вошедшему кинулся. А я, сам не помню как, в дверь. Слышал только, как «держи» сзади крикнули. Духом пролетел двор, за ворота выбежал, место людное, и в толпу прохожих затесался, и иду, как ни в чём не бывало, только, чувствую, ноги подкашиваются, и вдруг ко сну клонить начало. Пришёл домой, едва до койки добрался, лёг, заснул как убитый, часов пятнадцать спал. Просыпаюсь, — кто-то тормозит. Товарищ: «Где ты, говорит, — чёрт ты этакий, пропадаешь? Вчера у тебя три раза днём был. Ищу. Урок есть, — на тридцать рублей, братец!»

— Больше вы Петра Сидоровича не видали? — спросил я рассказчика.

— Нет, больше не ходил. Но урок вперёд даже дали, — поправился. Так и не знаю, узнал он меня тогда или нет. Но потом я видел. Уже когда совсем «отлично жил», что называется. Приехал в Москву и вдруг захотелось мне опять те палестины посмотреть, где я с голодудох, — и, главное, если можно, человека, из-за которого я чуть-чуть не попал в каторгу. Поиграть с прошлым. Желание странное, мучительное и сладкое. Всё там по-старому. Та же беднота и так же бедствует. И Пётр Сидорович жив, и тоже закусочную лавку держит. По-старел, конечно, сильно, но такой же кругленький, пузатенький. Удивился и испугался, когда перед его закусочной экипаж остановился, и барин его в трактир чай пить пригласил. Но подумал, должно быть, что какие-нибудь тёмные дела, и согласился. Пили мы с ним чай, смотрел я на это лицо, и с интересом смотрел. Особенно, когда он от чаю вспотел. Напомнил ему, кто я, какую имел с ним коммерцию. Он отвечал: «Как же-с не помнить? Помню!» Но, видимо, ничего не помнил. Мало ли нашего брата у него в руках перебивало! Разговоры же мои считал «подходцем». Когда я у него про Петьку спросил, он обеспокоился, нагнулся через стол и спросил: «Вы не из сысской ли полиции?» Вижу, что никакого толка от него не добьёшься, я ему и брякнул: «Я ведь, знаете, Пётр Сидорович, я вас тогда-то вот и при таких-то обстоятельствах ведь задушить хотел!» Пётр Сидорович допил чашку, опрокинул, положил на донышко обгрызок сахара и сказал: «Всё может быть-с!» Поблагодарил за чай и за сахар, и мы ушли из трактира. Он, очевидно, и про самое происшествие забыл. Мало ль с ним чего за это время не перебивало!

Да и кто бы подумал при взгляде на этого солидного, на этого достойного человека, что, не случись постороннего обстоятельства, не войди кто-то, — он был бы, по молодости, «зверским, бесчеловечным убийцей».

Я мог бы привести в пример другого, очень известного теперь и симпатичнейшего деятеля, который тоже в трудных обстоятельствах надумал и чуть-чуть не совершил преступление.

Целой шайкой. С товарищами.

Как он рассказывал мне, — зная, что я интересуюсь «преступниками-подростками», — тоже с разрешением пользоваться его «случаем», — он надумал ограбить очень известного в Москве дельца, про которого он знал такое деяние, за которое можно проехаться и по владимирке.

Предполагалось сделать так: явиться всей бандой, потребовать открыть кассу, взять, «сколько захотят», и, чтоб не сопротивлялся и не звал на помощь, пригрозить:

— А такое-то деяние помнишь? Откроем — сам пойдёшь в Сибирь. Молчи!

Деяние ещё погнуснее покушения на убийство Петра Сидоровича.

Но во всех этих предварительных разговорах «шайки грабителей» не рассуждали ни о гнусности поступка, ни даже об его результатах, ни о том, сколько они хотят взять денег, ни о том, что с этими деньгами сделают.

Все представляли себе тот момент, когда делец, испуганный, потрясённый, «бледный, как полотно», — непременно «бледный, как полотно», — дрожащими руками, — непременно «дрожащими руками», — подаст ключ:

— Берите!

Как он скажет это с покорностью, со страхом.

Рисовалась «картина» насилия, могущества их, беспомощности жертвы.

Этот план обсуждался месяц! Вот какое заранее обдуманное намерение! И месяц «обдумывалась» всё только «картина».

Узнали, когда делец бывает дома, когда он один, — но когда «шайка» дошла в назначенный день до его дома, все участники «сбрендили» и объявили инициатору:

— Иди один. А мы тебя здесь покараулим. Это, знаешь, тоже очень важно.

Так преступление и не состоялось.

17-летний тогда «составитель шайки» теперь, как я уже говорил, видный деятель, пользующийся симпатиями. А изо всех 16–18-летних «бандитов» вышли честные, скромные труженики, мирные и добрые отцы семейств...

В преступлении подростков много фантазии, а не злой воли. Больше молодой глупости, чем испорченности.

И каторга для них не место.

Если мы считаем несправедливым подвергать их смерти физической, то за что же подвергать смерти нравственной?

Каторга, — хоть и страшно редки исключения, — но всё же всегда смерть для человека сложившегося.

Но для человека, который должен в ней ещё «складываться», «формироваться», — это нравственная смерть непереносимая.

Юноша, в опасном возрасте «поддавшийся» фантазии, жизни не ведающий ещё, не знающий, начинает знакомиться с тем, что такое жизнь, по каторге.

Тюрьма — тёплый угол, казённые хлеба и карточная игра. Ограбление — цель, ради которой можно совершать убийства: «Потому, есть из-за чего». Единственная надежда в жизни — «фарт», счастье, удача.

И сахалинский опыт научит вас, что самые опасные враги общества, самые ужасные, зверские убийцы выходят впоследствии из людей, попавших на Сахалин юношами и в тюрьме «сформировавшихся».

Вдумайтесь в эти «преступления подростков» и решите:

— Действительно ли юноша, впавший в преступление, хотя бы и тяжкое, такой уж закоренелый преступник, что мы имеем право нравственно казнить его смертью?

И что в их преступлениях надо приписать злой воле, а что просто «опасному возрасту»?